

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИБИРИ

Россана Платоне

Первая часть настоящего сообщения схематически очерчивает разные переплетения истории и географии на сибирской земле и разные литературные представления об этой территории; только во второй части делается попытка анализа одного произведения. По итальянскому обычаю, будем называть Сибирью всю территорию от Урала до Тихого океана, включая Дальний Восток.

1. Под названием „Литературные Сибиряи” не подразумеваются ни разнообразие сибирских пейзажей, описываемых писателями: степь, тайга, тундра, ледяные пространства, горы и бесконечные равнины, пересекаемые величественными реками, океаны, острова и полуострова, ни смешение народов, языков, культур, характеризующих эту территорию и нашедших, в свою очередь, выражение в литературе. Будем рассматривать только литературу на русском языке, бегло касаясь произведений тех иностранцев, которые посетили Сибирь в давние времена.

Нас интересует, в рамках темы, предлагаемой для настоящего совещания, соотношение между физическими особенностями, историей, культурой определённой территории и теми литературными представлениями, „литературными Сибирями”, которые она навеяла, хотя они никогда полностью ей не соответствуют. Литературное пространство, врываясь в географическое, искажает его координаты. Когда конкретные знания ограничены, их восполняют фантазией, а когда территория хорошо известна, авторская точка зрения определяет фокус картины, подсказывает выбор надлежащих деталей.

В древних сообщениях западных путешественников, проезжавших через Сибирь, точные сведения и заметки чередуются с фантастическими рассказами. Монах Джованни де Плано Карпини, который в 1245 году отправился к татарскому хану с дипломатическим поручением папы Иннокентия IV, едва ли не первый представитель Запада, который упоминает о самоедах и о других народах, живших на севере от России:

С севера же к Комании, непосредственно за Россией, Мордвинами и Билерами, то есть великой Булгарией, прилегают Баскарты, то есть великая Венгрия; за Баскартами Паросситы и Самоеды за Самоедами те, кто, как говорят, имеет собачье лицо, на берегах Океана, в пустынях (*Путешествие* 1957: 72).

А секретарь Плано Карпини, польский монах Бенедикт, уточняет, что у Паросситов „маленький и узкий рот и они не могут ничего есть, а только пить жидкости и они питаются испарениями мяса и фруктов”.

Менее причудливо описание Марко Поло, появившееся несколько позже. На арктические области Сибири он указывает как на „Тёмную страну или страну Тьмы”:

На север от этого царства есть темная страна, тут всегда темно, нет ни солнца, ни луны, ни звезд; всегда тут темно, так же как у нас в сумерки. У жителей нет царя; живут они как звери, никому не подвластны (*Книга* 1990: ССХVII: 207).

Что касается жителей, они умелые охотники и добывают ценные меха в большом количестве. Внимание венецианского купца привлекают те же меха, которые заставят новгородских купцов, первыми среди русских, объезжать сибирскую землю, столь богатую так называемым „белым золотом”. В книге Марко Поло *Миллион* уже присутствует видение Сибири как страны мороза и тьмы, стереотип весьма распространённый в течение веков, которому противопоставляется видение Сибири, как страны бескрайних богатств и необыкновенной красоты.

В русской литературе мы впервые находим волнующие страницы в *Житии* воинственного протопопа Аввакума, неукротимого врага религиозной реформы Никона. С раскола XVII века начинается массовое бегство староверов от Антихриста в дальние края. Сибирская тайга обеспечивает надёжное убежище; там раскольники создают свои общины, там они распространяют свою литературу. Аввакум, который закончит свою жизнь на костре, был выслан в Сибирь, где прожил десять лет вместе с женой и с малолетними детьми; некоторые из них умерли от лишений. Аввакум оставил нам первый настоящий литературный пейзаж Сибири и первый непосредственный документ о ссылке. Он проходит почти всю Сибирь

до Даурии, на берегах Амура, пешком, на санях, на лодках, то и дело рискуя утонуть. Бесконечны его страдания, он их выдерживает со стойкостью, во имя веры. „Хотел на Пашкова кричать: «прости!» – да сила божия возбранила, – велено терпеть” (*Житиё* 1960: 72).

Житиё Аввакума имеет воспитательную роль, оно должно показать верующим, что нужно преодолеть всякую слабость в борьбе против Антихриста, и весь материал этой своеобразной автобиографии, от описаний местностей и людей до пережитых страданий, служит этой центральной идее. Религиозная цель произведения заставляет автора останавливаться на жесточайших испытаниях, выдержанных с божьей помощью: жена, вынужденная сразу после родов проехать три тысячи вёрст до Тобольска на телеге и на старых лодках, буря на Тунгуске, когда все чуть не утонули, постоянные избиения, дикие горы Ангары, куда его хочет послать жестокий Пашков, холодная тюрьма, в которую его заключают. Бесчисленные мытарства не мешают Аввакуму наблюдать и точно описать территорию, фауну и флору, увидеть не только суровость, но и величавость сибирской земли, адекватного фона для его трагической судьбы.

„Урагия старше Клио”, – говорит Иосиф Бродский.

И всё же, если рассматривать любой пейзаж, нельзя его отделить от истории, тем более если речь идёт о литературном пейзаже. Несомненно, когда говорят о ландшафте, сотворённом историей не менее, чем географией, приходит на ум скорее Тоскана, чем Сибирь, но было бы неправильно противопоставлять территориям, созданным человеческими цивилизациями, некую воображаемую „природную” Сибирь, созданную одной географией. Такой соблазн проявлялся неоднократно, в далёкие и близкие времена, как вследствие романтического мифа о „естественном человеке”, так и из-за немого восторга и страха перед бескрайностью просторов, суровостью климата, величием стихии, перед которыми человек кажется жалким и бессильным, неспособным оставить свой след в природе, покорить её.

...фраза: „Человек есть царь природы” – нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь,

пишет Чехов во время своего путешествия через Сибирь, на остров Сахалин (Чехов 1956: X: 37).

Исходя из положения, что географические особенности определённой территории обуславливают её историю и что история, в свою очередь, изменяет территорию, и имея в виду, что преобразованная территория, входя в литературу, претерпевает дальнейшее изменение со стороны художника, постараюсь представить несколько примеров таких преобразований на сибирском материале. На моменте проникновения истории в географию останавливает свой взгляд Иван Гончаров во *Фрегате „Паллада”*, выступая в неожиданной для автора *Обломова* роли пламенного сторонника активной жизни, свидетеля цивилизационной миссии своего народа в дикой стране.

Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность... (Гончаров 1959: III: 310).

Но до Гончарова декабристы уже открыли Сибирь для русской читающей публики. Географические условия Сибири – климат, отдалённость от центра – сделали из неё с самого начала край ссылки для преступников. Аввакум открывает длинную цепь ссыльных по религиозным и политическим мотивам, в которой чередуются сектанты, декабристы, народники, большевики, анархисты и т.д. Они способствуют, в отличие от ссыльных сталинской эпохи, образованию сибирской интеллигенции, распространению сначала просветительских, а потом революционных идей. Ссыльные интеллигенты знакомят европейскую Россию с Сибирью, так что в двадцатые годы XIX века сибирская тема становится модной в романтических поэмах, в некоторых „сентиментальных путешествиях” (например, в *Путешествии по Сибири господина Трунина*), в этнографических трудах, в произведениях некоторых декабристов, как Бестужев, где северная экзотика перекликается с кавказской. С другой стороны, идеи и литературные опыты русских ссыльных способствуют рождению сибирской литературы, в которой утверждаются, с определённым опозда-

нием, жанры и течения русской литературы. В Сибири существовала литература и в прежние века; достаточно упомянуть труды историка, географа, картографа и литератора XVII века, Семёна Ремезова, но о настоящей художественной литературе закономерно говорить только начиная с конца XIX века. Одним из основоположников сибирской литературы можно считать Короленко, писателя не сибирского происхождения. Сосланного в 1879-ом году в Вятку, а потом в Пермь Короленко в 1881, после убийства царя Александра II, высылают в тобольскую тюрьму, затем в Амгу, на берегу Лены в якутском краю. Быть может, именно хозяин его юрты в Амге, русский поселенец, прижившийся среди якутов, является прототипом его Макара. Родина Макара

глухая слободка Чалган – затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей земли, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали (Короленко 1953: 3).

Здесь происходит становление процесса физического и антропологического преобразования территории под давлением истории, а литературный текст показывает, с каким опозданием субъективно ощущаются данные преобразования. Макар гордится своим русским происхождением и не замечает, что стал почти неотличим от окружающих его якутов, он не знает, что его христианство, символизируемое построенной предками колокольней, насквозь пропитано языческими элементами.

Было бы достаточно одних произведений Короленко, чтобы представить разные образы литературной Сибири: лютый мороз снаружи и гостеприимная теплота внутри юрт, грубое и вдохновенное пение молодого якута, присутствие каторжни-

ков, ссыльных и убийц, способных сохранять человеческие чувства, и везде и всюду необъятная тайга, по которой странствует бродяга, центральный образ сибирских рассказов. Бродяга движим разными побуждениями, – он беглец, сектант, правдоискатель – всегда вдохновлён неугасимой жаждой свободы. Это типичный образ сибирского ландшафта, и он превращает Сибирь, край неволи, в край неограниченной свободы. Это герой, проходящий через литературу, через сибирские песни всех времён, наделённый большой притягательной силой, связанный бесчисленными нитями с первоначальной кочевой жизнью народов Сибири.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга... И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме – не трудностью пути, не страданиями, даже не „лютою бродяжьей тоской“, а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? (Короленко 1953: 89).

Чрезвычайно чуткий к страданиям простых людей, ко всем проявлениям народной души, летом 1882 в Сибири Короленко спрашивал себя, правильно ли он поступает, отказываясь от литературы, которая, пожалуй, является его истинным призванием, во имя смутной и таинственной „народной мудрости“, приводящей его к смирению и к покорности, против которых стихийно восстаёт его дух. Он понимает, что народ склонен принимать то, против чего борется интеллигенция, и задаёт себе мучительный вопрос: где же правда, где место интеллигента-народника. В конце концов он решит в пользу литературы и собственных идей, и этот выбор отличает его от некоторых писателей нашего времени.

Немного есть русских писателей, которые установили с Сибирью такую тесную и жизненную связь, как Короленко. Пожалуй, только Арсеньев, будучи исследователем и военным топографом, прожив долгое время на сибирском Дальнем Востоке, был покорён этим краем с такой же силой. Остальные были любознательными, проникательными, чуткими путешественниками, но не изменили свою природу европейских наблюдателей азиатской действительности.

Чехов во время своего большого путешествия на остров Сахалин был поражён монотонностью пейзажа между Уралом и Обью. „Холодная равнина, кривые берёзки, лужицы, кое-где озёра, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби...”, которой противопоставляется величественная и великолепная природа на востоке от Енисея, „могуч[его], неистов[ого] богатыр[я], который не знает, куда девать свои силы и молодость” (Чехов 1956: X: 35). Необъятность просторов, рек, лесов чарует его и в то же время душит. В тайге у него такое впечатление, „как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища” (*там же*, 36). Чем дальше он едет к востоку, тем большее отчуждение испытывает.

Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому ненужны, наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами (*там же*, 41).

Упоминание о Патагонии и о Техасе наводит на мысль о многочисленных сходствах между Сибирью и северной и южной Америкой как в природе, так и в литературе, об аналогичном ощущении бескрайних просторов и больших рек, о месте человека среди такой природы¹. Долго бытовала идея о Сиби-

1 Можно привести бесчисленные примеры этого общего ощущения природы, чувства растерянности перед её величием. Достаточно сопоставить несколько строк описания дальневосточной степи у Арсеньева с описанием американской прерии у современного северо-американского писателя William Least Heat-Moon. Арсеньев в начале нашего века писал: „...на севере, насколько хватал глаз, расстилалось бесконечное низменное пространство, покрытое травой. Сколько я ни напрягал зрение, я не мог увидеть конца этой низины. Она уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер. Трава колыхалась и волновалась, как море... С первого же шага буйные травы охватили нас со всех сторон. Они были так высоки и так густы, что человек в них казался утонувшим. Внизу, под ногами, – трава, спереди и сзади – трава, с боков – тоже трава и только вверху – голубое небо. Казалось, что мы шли по дну травяного моря. Это впечатление становилось еще сильнее, когда, взобравшись на какую-нибудь кочку, я видел, как степь волновалась” (Арсеньев 1978: 30, 31).

ри, как о своеобразном русском *Far East-e*, с её бесконечными богатствами, золотоискателями, авантюристами, правонарушителями; отсюда берёт начало попытка создания авантюрной литературы на сибирскую тематику.

Не буду останавливаться на преобразованиях сибирской территории, вызванных революцией и длительной гражданской войной, индустриализацией и строительством десятков новых городов, мировой войной и завоеванием целины. Каждый из этих моментов, разумеется, нашёл в литературе своё отражение. Здесь хотелось бы только напомнить об изменении ощущения пространства и времени, которое было вызвано сначала строительством трансибирской железной дороги в начале века, а затем распространением самолётного транспорта.

В семидесятые годы нашего века в России возникает новое экологическое сознание, зародившееся и начавшее с трудом пробивать себе путь ещё в прежние десятилетия; среди её носителей и распространителей, наряду с другими, есть и писатели-сибиряки или как-то связанные с Сибирью (Астафьев, Распутин, Залыгин). Их борьба иногда венчается успехом и поощряет других активно участвовать в защите природной среды. Орудием этой борьбы являются прежде всего публицистические произведения, но и художественная литература, хотя и не в такой прямой форме, проникается тревогой о судьбе планеты.

А американец William Least Heat-Moon, который решил добавить к своей фамилии своё индийское имя (Heat-Moon), замечает: „Сначала мне было тяжело оказаться *«hic et nunc»* в прерии, но я полюбил спокойную ясность этого места, требующего моего вклада, способности к открытости и готовности видеть далеко, но видеть мало. Так я открыл один секрет: постепенно охватывать взглядом маленькие куски умопомрачительных расстояний прерии и упиваться маленькими, привлекающими взгляд деталями. Кроме горизонта и неба, прерия просто так ничего не уступает... Постепенно я понял, что как и море – только вода, прерии – это только трава, и что жизнь прерии проходит в основном *внутри*, под стеблями, под дерном и камнями. Прерия полностью не раскрывается, это огромный тайник на поверхности, в котором, как в многочисленных геодах графста – чудо таится в кажущемся однообразии” (Least Heat-Moon 1994: 32-33).

Недавние события, начиная с перестройки, бессмысленное подражание западным моделям и моральный упадок страны толкают самых представительных писателей Сибири на очень консервативные позиции, вновь разжигают противопоставление между культурой и цивилизацией, между Сибирью, связанной с природой и, следовательно, с источником нравственности и столицами, – прежде всего ненавистным, искусственным Петербургом – находящимися под влиянием Запада, жаждущими вульгарных материальных удобств.

2. Переходя к конкретному литературному произведению, остановлюсь вкратце на *Прощании с Матёрой* (1976) Валентина Распутина. Сибирская литература становится значительным явлением именно между концом пятидесятых и концом восьмидесятых годов; писатели этого периода отстаивают своё „сибирячество” как неотъемлемую часть своей личности, не противопоставляя себя русским, а считая себя, наоборот, самими настоящими носителями русского характера. Распутин – авторитетный представитель этой группы писателей; действие повести происходит на ограниченной территории (на острове), которую человеческое вмешательство сотрёт с лица земли, и которая в представлении писателя становится центром регрессивной утопии.

Реальной географической территорией является деревня, расположенная уже триста лет на острове в Ангаре. Историческое изменение территории вызвано строительством большой гидроцентрали (речь идёт о Братской ГЭС, хотя она никогда не называется); эта деревня, как и соседние, будет затоплена, а жители переправлены в новый посёлок.

Художественной территорией Распутина является деревня как центр вековой культуры, постепенно исчезающей традиции; она долго была и должна была бы оставаться нравственным ядром общества, ориентиром шкалы ценностей. Искоренение жителей из своей среды не может не вызвать нравственного вырождения. Старухи, никогда не удалявшиеся от деревни, полностью сливаются с территорией. Они же являются и хранительницами той памяти, которой суждено исчезнуть в городе, они наделены чувством истории, предполагающим не знание истории, а сознание того, что мы находимся в постоянном течении, где нет разрыва между прошлым, настоящим и

будущим; они хранительницы культа предков и отвечают перед ними за то, что не сумели сберечь их наследие, они хранительницы избы, сакральности смерти и очага. Им совершенно чужды раздробление и фрагментация современной жизни; они носительницы идеала цельности, синкретической культуры, в которой сосуществуют миф и религиозность, где фольклор сливается с бытом, обособление отдельного человека исключается близостью не выбранных, а просто живущих в той же деревне людей, составляющих поэтому неотъемлемую часть жизни каждого. Здесь на любые вопросы существуют ответы, уже указанные предыдущими поколениями, тяжёлый труд находит облегчение в совместности, страдание принимается как неотъемлемая часть человеческой судьбы и успокаивается воспоминанием о счастливых днях, которые всё же были и могли бы ещё вернуться.

Господствует, в общем, та „народная мудрость”, которой Короленко не дал себя обмануть, но она, кажется, покоряет Распутина, видящего в ней противоядие губительным последствиям модернизации. Болезненно ощущая разъединение и раздвоение внутри самого себя и каждого человека, он мечтает о цельности человека и мира и видит её в исчезающем крестьянском мире. Это придаёт символическое значение Матёре, последнему фрагменту архаической культуры на закате.

С первых же страниц *Прощания с Матёрой* устанавливается связь между природой и людьми; жизнь деревни течёт через время, как вода:

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые (Распутин 1978: 205).

Время здесь кажется вечным, течение в своём регулярном повторении путается с неподвижностью. В этом мире перспектива коренного изменения – уже близкого затопления острова и переправы в новую деревню – исчезает в туманной нереальной дали. Для тех, кто подходит к концу жизни, диа-

лог с покойниками, с прошлым является более жизненным, чем ничего хорошего не обещающее будущее. Поэтому старухи Матёры грозно нападают с палками на чужих мужиков, приехавших очистить кладбище до затопления. Могильные кресты, фотографии – святыи вещи, и только „чёрты” могут с этим не считаться. Неважно, что могилы будут скоро затоплены вместе с деревней. Разрушать их – это кощунство, профанация. Так же кощунствен и поступок Петрухи, зажжённого свою избу собственными руками.

Дарья, самая размышляющая, самая сознательная из всех старух деревни, сама выбелила свою избу перед затоплением, как обмывают и обряжают в лучшую одежду покойника, прежде чем класть его в гроб; ритуальность характеризует все её поступки. Она часто сомневается в собственной правоте, не знает, понимает ли она до конца всё происходящее около неё, но точно знает, что только скрупулёзно совершая всегдашние ритуальные жесты, она чувствует себя защищённой, в ладу сама с собой. Дарья даже не может себе представить, что покинет остров, не простившись со своими покойниками, с большой лиственницей, возвышающейся, как пастух посреди стада.

Древняя мудрость подсказывает ей, как поступать в новых, незнакомых обстоятельствах. Возраст в *Прощании с Матёрой* не является второстепенным элементом; в столкновении между культурой и цивилизацией старики (а ещё более старухи, главные героини повести) представляют духовную культуру и память, позволяющую сохранить культуру, а молодые люди – представители цивилизации, прогресса и забвения, облегчающего расставание с прошлым и безболезненный переход в настоящее.

Молодёжь переживает совсем по-другому последние дни Матёры. Её ждут великие перемены: гидроцентрал, который принесёт электричество и прогресс в огромные сибирские территории, переезд в более современные и комфортабельные дома, вход в большой мир. Возбуждение преобладает над смутной тоской по деревне, где прошло детство. Но старый самовар, большая лиственница, то есть „культура”, берут верх в повести Распутина над краном тёплой воды и над зелёньким унитазом, жалкими символами „цивилизации”.

Если любой прогресс имеет свою цену, потеря традиционных ориентиров, разрушение солидарности, семейных и общественных связей являются слишком высокой ценой и тем самым уничтожают возможность настоящего прогресса, подсказывает нам Распутин.

Идеализированное им крестьянское общество является статичным, внутренне сплочённым, готовым ради сохранения своих ценностей отказаться от перемен, которые грозят разрушить достигнутое равновесие.

Прощание с Матёрой даёт регрессивный ответ на реальные вопросы, ещё не нашедшие удовлетворительного решения. Стремительной гомологации, вызванной техникой и глобальным рынком, повесть противопоставляет защиту местных культур; научному прогрессу, загрязняющему нашу планету, противопоставляется крестьянский мир, умеющий сосуществовать с окружающей средой; модели развития, которая за двадцать лет – с 1960 до 1980 г. – крайне увеличила разрыв между богатыми странами севера и бедными странами юга (первые были в 20 раз богаче вторых в 1960 году, в 46 раз богаче в 1980 году), противопоставляется модель маленькой сельской общины, обеспечивающей себе скромнейший достаток, не разрушая среду и не порождая большого насилия.

Картина старого мира, представленная в ностальгических воспоминаниях жителей Матёры, утопична. В глубине души сами старухи знают, что их жизнь была не такой уж прекрасной, и всё же предполагаемые доброта и пристойность прошлого кажутся более привлекательными явной непристойности настоящего.

Можно полагать, что антипрогрессивные настроения отвечают одной из возможных функций литературы: обернуться назад, чтобы не забыть, чтобы собрать то, что история отбросила.

Воззрение Распутина привлекает искренностью страдания и литературным даром автора. На осуждённом острове посреди великой реки мифическое мышление обретает реальность. Существа фольклорного происхождения, такие как таинственный „хозяин” острова, невидимый для людей, здесь находятся в своей естественной среде и погибнут вместе с Матёрой. Вода – горизонт жизни островитян, средство сообщения, источник жизни и гибели, музыкальный фон повествования, пред-

мет эстетического созерцания, место проявления языческой радости в коллективном купании после сенокоса – это лейт-мотив, сопровождающий весь рассказ и фактически его заключающий, когда лодка, которая должна увезти последних жителей, оставшихся на острове, теряется в ночном тумане.

В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана (Распутин 1978: 381).

ЛИТЕРАТУРА

- Арсеньев, В. К.
1978 *По Уссурийскому краю. Дерсу Узала*, Ленинград 1978.
- Гончаров, И. А.
1959 *Собрание сочинений в шести томах*, Москва 1959: I-VI (см. т. III: *Фрегат „Паллада“*).
- Житиё*
1960 *Житиё протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения*, Москва 1960.
- Книга*
1990 *Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от р.Х.*, Алма-Ата 1990.
- Короленко, В. Г.
1953 *Повести и рассказы*, Москва 1953.
- Путешествие*
1957 *Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука*, Москва 1957.
- Распутин, В.
1978 *Повести*, Москва 1978.

Чехов, А. П.
1956

Собрание сочинений в 12-и томах, Москва 1956:
I-XII (см. т. X: *Остров Сахалин*).

Least Heat-Moon, W.
1994

Prateria, Torino 1994.